

Никишка с Харитоном. В бане было тепло, платье их сохло на грядке над каменкой.

Никишка тренькал на балалайке, рука плохо слушалась и худо попадала на струны. Харитонко сонно полупьяным голосом напевал:

Во саду ли бабу вздули —
Девка убежала-а!

Насельница

Дня два как моросил мелкий дождь — дороги ослизли. В полях стоял туман. Кричали вороны. Лето кончалось, с полей не возили сжатой ржи, ждали, когда обсохнут мокрые суслоны, а кто из старательных мужиков успел убрать сухую рожь, те уже пахали подзимки. У избы Василия Аксенова, прозвищем Лапа, валялась перевернутая вверх ральниками соха, мокла и ржавела; у изгороди приваленная, облепленная землей, серела борона с редкими поломанными зубьями. Поперек крыльца лежали брошенные грабли, а в сенях валялся хомут с веревочной супонью, со сбитой набок хомутиной.

Василий Лапа, веселый, принаряженный, ходил по избе, гремел самоварной трубой, дул в самовар, тусклый, давно не чищенный. Вынув из стенного шкапчика чайные чашки, расставил их на столе. Две нарядных бабы сидели у стола в ожидании чая и любопытно оглядывали неприбранное жилище Лапы. Одна, пожилая, в темном платье, говорила другой — круглолицей, часто хихикающей:

— Уж правда, Матренушка! Лучше тебе этого жениха не сыскать...

Василий, в красной рубахе, в синих штанах навывпуск поверх рыжих сапог, подошел и прибавил к словам бабы:

— Конешно, правда! Весь тут, ни свекрови, ни свекра.— Он потрянул длинными волосами с пробором и, пряча за спиной большие руки, пригнулся к молодой.

— Мне оно и ништо... хи-хи... Мама моя супротив Василья Аксеныча, да соседки худо про него бают...

— Эх, Матрена, Матрена, как оно?

— Михайловна изотчеством.

— Матрена Михайловна! Да нешто сосед соседа когда хвалит? Что говорят, знаю: «Жену в гроб забил, другая от худого житья сбежала... Ищет третью, чтоб хозяйство наладила». Это ли?

— То самое... хи...

— Вывороти душу! Правду скажу — первая баба попала дохлая, другая героем прельстилась: был Архангельский фронт, сама знаешь, красных понаехало, бабы, девки с ума будто сошли, потому идут за революцию люди... красноармейцы! спасители!

— Да чего тут! Матрене лучше тебя, Василий, искать нечего.

— Я што? я иду... мама вот как ужо?

— Ой, Михайловна! Тебе замуж, не маме идти... И кто иной возьмет? С красным военкомом ребенка прижила — бросил... Все знаю, не гнушусь, беру — потому сам не свят. А, вот он, самовар!

Василий поставил на стол самовар, заварил чай, принес на тарелке масляные колобки:

— Ешьте, пейте! чай настоящий, из города земляк достал. А тебе особо скажу, Матрена Михайловна: заметил я тебя давно и письмо тебе составил... Не пойдешь ежели, то махну в чужую сторону, на озера сватать... Те девки пойдут — манит их наша сторона!

Пожилая, неискренно улыбнувшись, всплеснула руками:

— Ну, что ты, Василий свет, бери-ка наших! Чего озеруха смыслит? Да ей корову по-нашему не подоить. Не хозяйки они...

— Хи-хи! озеруха — старуха... Говорят: тамо, как девка родилась да чутку подросла, ее загоняют в воду рыбу ловить!..

— Тутошних бери, Василий!

— Вывороти их душу — тутошние, видишь, ломливы, а ежели на озерах девки кажутся старше наших, зато ядреные.

— Хи... дай-кошь письмо-то!

Василий Лапа достал из кармана брюк потрепанную бумажку. Топыря рыжие усы и выставив правую ногу вперед, стал читать.

— Ты сядь, Аксеныч!

Василий не сел, а только спрятал свободную руку за спину и выпятил грудь:

«Ты, Матренушка, цветок, посажу ты на шесток, буду часто поливать, красавицей называть! Тебя вижу я во сне — зазнобила душу мне; ежели вижу наяву — то не знаю, где живу: на земле или в раю, только песенки пою... Я куплю тебе наряд, приживу с тобой ребят! Будешь матерью-женой, не работай — песни пой...»

— Такие песенки я часто составляю, да еще на клиросе пою... Родитель мой был дьякон, а не благословил на церковные дела — грубый был человек; помирал, сказал: «Держись, сын, за землю — земля прокормит! Наше, поповское, ремесло худое». Мне же наплевать... Я прямой человек и правду скажу: не обожаю пахоты, не люблю хозяйства... Вот ежели с бабой, то это дело иное — бабы к земле плотны! Плотны бабы, вывороти их душу...

— Мне писано — давай письмо-то! хи-хи...

— Погодь, Матрена Михайловна, ранее ответствуй: идешь за меня или балуешь?

— Мама вот как?..

— Письмо сделаю на твоё имя, и всё прочее, а думаю, ежели когда в гости к тебе приду...

— Не ходи! Мама тебя не пустит в избу... не любит она...

— Жаль, а с мамашей твоей можно бы поговорить, не понимает, что я за человек есть! Я вот тут в школе актером играл, даже учитель, он у нас коммунист — хвалит: «Ролю хорошо учишь!» Старики учителя того не обожают, молодежь — та с почтеньем, потому многих на путь жизни просветил... грамоте обучил. «Играй, говорит, толк выйдет!» А мне когда? Сам корову дою, хлеб пеку; вот колобки кушаете, а я сам их пек.

— Я слыхала, сказки ты, Василий, мастер сказывать. Ну-ка, потешь нас с Матреной-то... Письмо уж куда ласково, только читаешь громко и нескладно слушать.

— Хи-хи... баско писано, да не мне — вишь, дать не хочет.

— Писано тебе, Матрена Михайловна! Не даю, значит — когда перепишу.

С улицы раздался стук палки в раму окна:

— На собрание к десяцкому, эй!

Бабы встали.

— Двор не глядели да корову, а тебе вот идти надоть?

— Ништо, любезные, поспею! А то, может, вы ночуете?

— Ой, худое скажут про нас: с ночевкой — это, значит, шлятся...

— Ну, так подьте, а я подожду!

Бабы прошли во двор. Посмотрели хлев, сарай. Потрогали вымя у коровы, пересчитали рубцы на рогах. Старшая сказала:

— Тринадцать рубежей — тринадцати телят, старая!

— А не пойду я за него, Мавра!

— Так, бабонька! Это не жених: ни пахать, ни косить — сказками сыт не будешь. Гляди, дождик, а ему лень соху в сарай занести — ржавит. Нешто это хозяин? Поповское дите!

— Хи-хи! а подговаривала: «Лучше жениха не найти!»

— Ты понимай — лишний раз чаю попить, да подарки, может, даст — он ведь шалой... чужое сорит: бабу с приданым в гроб забил, а другая избу поставила, корову завела... Не от сладостей от своего гнезда с солдатам сбегла...

— Вишь, он какой! хи...

— Пойдем-ко, ждет!

Василий Лапа шел с бабами по деревне, расспрашивал:

— Как, бабоньки, хозяйство?

— Ничего...

— Вывороти душу — корова у меня первая в деревне!

— Стара...

— Сам дою — доит хорошо!

— Прощай, Василий Аксеныч!

— Заходите!

— Хи-хи! Чего так-то?

— Зайдем. Ежели ночуем, то по плату подаришь?

— Чего угодно подарю! заходите.

— Эй, Аксенов! не стой на пороге — иди в избу, соседи ждут, — отворяя дверь в сени и слегка толкая Аксенова, сказал десятский.

В избе десятского подросток дочь выкладывала из лежаночного котла пареную солому скоту в ведра. Дым махорки в избе смешивался с запахом прелой соломы.

Грамотный мужик десятский, держа огрызок карандаша за ухом, сигарку в зубах, перебирал беспорядочный ворох распоряжений исполкома.

Василия Лапу встретили криками:

— Аксенова деревня ждет, а он все сватается!

— Пошто Аксенову бабу? Пускай землю отдаст деревне!

— Слушайте, соседи-и! — крикнул десятский.

Его спросили:

— Нешто ты всю эту бумагу честь нам будешь?

— Нет, пошто? Вот она, ноңешняя! — Десятский прочел: — «Навозить дров в школу, разложить вывозку полошадно».

— Все, што ли?

— Все!

— В школу? Што ж, можно!

— Школа гоже, а вот, соседи, в церкву дров возить не станем!

— Прави-льно-о!

— У попов лошади есть — пушай сами-и!

— Да вот, Лапа навозит! Недавно в псаломщики просился-а...

— Я, граждане, вывороти душу, рубить не мастер!

— А баб сватать мастер?

— Бабу мне даже необходимо, потому корова, лошадь.

— Продай! Зря моришь скот.

— Землю запустил!

— Без бабы, граждане, не обойтись, а ежели баба, то земли еще прибавить надо.

— Зря сватаешь — бабы тебя знают, не пойдут!..

— Я, граждане, удумал с озер привести невесту!

— Ту, ежели приведешь, — не забудешь: там девки — смотри — ядреные!

— Хо-хо-хо! изо всего лесу!

— Землю у Аксенова надо отобрать — от крестьянства в отцы духовные лезет!

— Мне чего лезть? вывороти душу! Батка у меня дьякон был — земля подо мной церковная!

— Пошто ему пахать? Ему сказки сказывать ладно!

— Бездельничает грамотой!

— Кому грамота в науку, Аксенову — на балагурство!

— Ежели в этот месяц не женится — землю отколоти́м, потому пришло поповские земли равнять под мужичий шест!

— Правильно-о!

— Я, граждане, завтра же иду на озера.

— Спеши, Аксенов! потому месяц — недолог срок. Собрание разошлось, а Василий Лапа, подговорив дочь десятского смотреть за скотом, придя домой, стал налаживать пестерь и ружье для дороги на озера.

Василий, идя лесными тропами в сторону озер, стрелял рябчиков. В день дошел до первой избы на лесных наволоках, заночевал. Было холодно, и не хотелось рубить дрова.

На холодном полке дрожал под рядовкой пестрядиной, проношенной до заплат; ватный пиджак на нем тоже нахолонул и не грел тела.

Снились всю ночь бабы. Утром рано проснулся, закурил и, лениво разведя огонь, пил чай да рябчика варил в котелке. Поел, нагрелся и снова целый день шел: наволоки становились все уже, а лес все выше и матерее. Далеко от тропы за рябчиками боялся уходить. День пался серый, моросило, — рябчики на манок не отзывались. Мокрые ветки елей мазали по лицу сыростью.

«А ну, как еще, вывороти душу, завтра паморока будет? Нароботаешься над огнем...» — думал он и щупал за пазухой кусок кумачу и платки.

«На озерах ходят в тряпье. Кумачом, платками любую девку сманю: не пондравится — прогоню, да за другой, благо дорогу узнать!»

Наволоки кончились. Отсюда пойдет сплошной лес без дорог верст на тридцать. На последние наволоки редко ступает нога человеческая, а потому на них и избушка стоит столетняя, в землю вросла. Пока шел до этой избы Василий Лапа, по небу ветром раскидало облака, вызвездило, стало морозить.

«Еще беда! не нарубишь дров — промерзнешь до дна... черт!»

Развел огонь и долго, медленно рубил сушник. Спал топор, отлетел в сторону; с ругательствами нашел его за кустом, насадил снова и заклинил кое-как:

«Хватит на раз! вывороти душу...»

Прогрел избу, сварил суп из рябчиков, поел, лег на полок, запел божественное, подумал:

«Оно лучше на дорогу, а идтить, пожалуй, еще дня два?»

Наработавшись, уснул без снов.

С утра пошел сплошным лесом, и чем глубже уходил в лес, тем сумрачнее становилось на душе... Дали лесные мутнели, пугали далекой мглой — туманами в болотинах и выломками на косогорах. Звенели комары, приставала мошка, но Василию Лапе было не до того, чтоб обращать внимание на гнус...¹ В стороне, где шел он, пищали рябчики; он боялся выслеживать юркую птицу.

«Закружишься...»

Начал тихо напевать божественное.

«Так-то вернее...»

Тряс на широкой ладони компас, стрелка отчаянно крутилась, а ему казалось, когда останавливалась стрелка, что она неправильно показывает юг и север,— плюнул.

«Машина — дело мертвое, на божественное принадлечь!»

Откуда-то появилось силы больше, чем он ее чувствовал,— пропала обычная лень, и Василий Лапа почти побежал вперед, спотыкаясь, падая и бормоча псалмы. Растерянно вскидывал глаза вверх сосен и елей на мелькающие клочки неба, жадно искал взглядом солнце, а солнца не было...

Вековой, не тронутый рукой человека лес стоял перед ним, он чувствовал себя в нем, как тот комар, который сидит у него на щеке...

Под ногами на много верст лежит мягкий, глубокий, рыже-зеленый мох, пахнувший багульником; от запаха приторно-едкого кружится голова. Когда мох пошел по колено, то Василию Лапе стало казаться, будто он погружается в глубокую воду, рыже-зеленую, заломленную сиреневыми столбами стволов сосен. Тишина. Только в голове у него звенит:

«Блудишь... блу-динь-динь...»

«Хоть бы желна! Хоть бы птичка какая чиликнула... Боязно...»

¹ Г н у с — комар, муха, овод.

Когда он падал в мягкое, то без звука, и, вставая, шел в ту же тишину. Выбился из сил, остановился, перелезая валежину, и сел на нее. Сдернул с мокрых волос шапку, стащил ружье, дрожащими руками едва закурил и громко, чтоб нарушить тишину, сказал:

— Нечего тому богу молиться, который ежели не милует: пел псалмы, а заблудился!

Испугался своих слов и, вытянув шею, стал глядеть в синеющую даль:

«Вот-те ижица — заблудился! Куда теперь?»

Неожиданно соскочил в мягкое, в мох, и закричал:

— Эй! э-э-эй!

Схватил с валежины шапку, набросил ружье, ударив себя стволом по голове, — кинулся вперед.

Впереди, саженьях в тридцати в стороне, увидел рослую девку в синем клетовнике-сарафане, в красном платке. Девка шла нагибаясь, брала не то ягоды, не то грибы.

— Эй, сватья!

Девка шла не оглядываясь, словно глухая, а Василий Лапа спешил за ней, но во мху утопали ноги, скоро идти не мог, а девка уходила.

— Што ты несет? вывори души! я добрый, эй!

Девка шла и шла, временами нагибалась, клала что-то в корзину, надетую на левой руке. Василий Лапа видел, что она как бы уменьшалась.

— Не догнать! стой! душу твою на левую сторону, — стой!

Стемнело. Нельзя стало идти дальше. Василий крепко выругался с отчаянья, подошел несколько — стал и недалеко увидел: блестит вода.

«Озеро?!»

Вода на озере была сине-черная, по воде плавали светло-серые комья снега. Лапа, взглядевшись в комья, понял:

«Лебеди! Дай пойду — убью».

Подошел к воде и не стал стрелять. Лебеди держались близко к середине озера, озеро было большое, усталость нашла на Василия Лапу. Рубить дерево у него не подымались руки. Разворотил мох, залез в него, накрылся рядовкой и тут же уснул. Утром, отыскивая дрова, увидел за озером ряд лесных избушек, у избушек двигались люди.

«Ну, Вася! молись Егорью — дело твое высокое, не последний раз по лесу идешь...»

Развел огонь, вскипятил чаю. К его огню из-за озера пришли девки. Девки одеты в рваные пальтушки, сарафаны, в лаптях на босу ногу.

— Эй, сватья! вывороти душу — вы тут пошто?

— Рыбу ловим да сушим!

— Откеда вы?

— А мы озерные!

— Пейте чай — хотите?

— Мы непривышны. Пойдем, коли хошь, к нам!

Этот день Василий Лапа кружил у озера. Хотелось ему убить лебедя, но лебеди по-прежнему держались, сбившись в кучу, и казались белым островом. Перед закатом выглянуло красное солнце, — молодые елки с тонкими верхушками загорались то тут, то там.

«Пора к сватьям!» — решил Василий Лапа.

Придя к девкам, он удивился: у одной из изб разбрасывала по рогоже мелкую рыбу высокая девка с темным, почти черным лицом от копоти. На ней был синий клетовник-сарафан, только на голове вместо красного платка трепыхался выцветший, бледно-голубой.

— Эй, сватья! вывороти твою душу, — пошто не дождала меня в лесу?

— Чого?

— Я по лесу шел сюда, а ты от меня уходила... Кричал — идет знай!

— Перестань, шальной мужик, я неделю рыбу ловлю и никуда не ходила, врешь.

— Да как же я тебя видал?

— Лешевицу ты видал!

— Дай-кось топор-то, топить избу пора...

— Маремьяна! Мужик есть, дров нарубит... — закричали девки.

— На топор! рубите без меня.

Василий Лапа распоясался, снял рядовку, стащил сапоги: за избой стучал топор, потрескивали щепки. Сидя на пороге избы, Василий босиком, полураздетый, курил, спросил:

— Девки! никак она сушину валит?

— Сушину, а што?

Лапа в испуге вскочил и крикнул:

— Сватья-а! Не свали сушину на избу — задавит.

— Сиди, знай — леневой!

Защелкали сучья, затрещала столетняя сушина, — пала, вздрогнула земля. Пала рядом с избой, далеко протянувшись мимо верхушкой. Девка нарубила чурарков, наколола смольливых дров, охапками перетаскала к избе:

— Разводи огоны! Давай чайник, воды зачерпну.

Василий Лапа, посмеиваясь, готовыми дровами затопил каменку, сказал довольный:

— Значит, вывороти душу, чай пьем!

Разводя огонь, пытал девок:

— Парни-то придут? Мужики или...

— Каки еще парни?

— Да нешто вы одни здесь?

— Кого еще надоть?

— Экое мне тут добро — едино что салтану турецкому!

Девки у огня сварили овсяной похлебки, поели.

Высокая, с темным лицом, сказала:

— Ты, мужичок, взял бы головней да рядом избу прокурил!

— Вам места, што ли, мало, — мне хватит!

— Спи, коли ежели смирной!

— Я-то? я смирной!

— Мы и озорных не боимся, тебе как лучше!

— Со мной, сватья, вам весело будет — я сказку скажу!

— Скажи!

— Ну, скорее, а то зауснем!

— Спи, ежели неохота слушать! Я иду к вам свататься... Наряд несу — во, глядите-ко! Во, вишь, какая пойдет со мной, той подарю...

— Поди-к ты, — он богатой!

— Выбирай кого? — идем!

— Леневой мужик! Дров и тех не хотел рубить...

— Нечего с ним вязать голову!

— Может, на кумач-от корову променял?

— Мое дело! придете места глядеть — увидите всё...

— Ха-ха-ха! Что с ним, — выбирай, коли сватаешь.

— Вон эту думаю, вашу коноводку, — не зря она мне в лесу примстилась!

Высокая промолчала.

Все поскидали лапти, сняли сарафаны — в одних рваных рубахах залезли на полок. Василий Лапа зажег длинную лучину.

Он видел, как высокая девка, не стыдясь, сняла верхнюю одежду до рубахи, короткой и грубой, легла среди других, а ему сказала:

— Отвори-ка, мужик, дверь, жарко!

Василий откинул дверь.

Тускло сияло за дверями озеро. У берега лежала полукруглая блестящая полоса, верхушки прибрежных елей мутно светились. За озером над лесом стояла темно-синяя туча, из-за нее чуть-чуть выглядывал крупный месяц.

Светом месяца, желтовато-бледным, была озарена кромка тучи,— вверху до самых звезд текли сетчатые лучи по опаловому небу.

— Эх, и хорошо же у вас тут! Хоть книгу чти, сиди...— проговорил Лапа покуривая.

— Кто не работает, шатается, как ты,— тому хорошо, а мы вот чуть утро в воду забредем да до ночи не вылезем, мошка лицо исколет до опухоли, так и думать некогда, хорошо в лесу или худо...

— Я за делом иду, говорю вам,— свататься пришел!— ответил Василий высокой девке.

Она промолчала, а остальные запели:

Старик по двору ходил!
Не с ума заговорил,—
Не дает отстряпаться,
Посылает свататься!

— Зубоскальте!

Высокая сказала вдруг:

— Счастливой! Он вот грамотной...

— Еще бы, я грамотной!

— А я вот слепая, безграмотная!

— Выходи за меня — выучу!

— Ужо посмекаю...

— Смекай поскорее!

— Сказку, сказку!

— Эх, диво дивное! Месяц из тучи вышел...

— Ты двери запри, мужик,— теперь выстудило...

Василий Лапа послушался строгого голоса высокой девки, запер дверь избы.

— Так сказку? Ну, чуйте! Был парень, посватался он — вывороти его душу,— как и я, на богатой девке,

дочери кулака-мироеда... Посватался, а потом одумался: дошли слухи, что девка миляша имеет...

— Слушаем...

— Ну, сватьи, надо ему узнать правду, а как? Обрядился он нищим, пришел к кулаку, прикинулся богомольным,— а кулак богомольных любил,— выпросился ночевать; пустили. Пробрался он в горенку, где спала девка, невеста, спрятался за печь. Перед тем как идти спать, вот тоже, как и я, сказку рассказал: «Ежели, говорит, девка разденется нагишом да голову сунет в хомут, а ноги в гужи и заснет, вывороти душу, то во сне увидит все, что захочет!»

— Ври-ко больше?!

— И вот! Девка слыхала, как он энтю сказывал. Стоит жених за печью, а ночь была светлая,— месяц пек, ну, как теперь...

— Чуем!

— Видит, девоньки, кто-то лезет к окну, а девка подскочила, открыла окошко. Залез в горенку молодец кудрявой, и ну они любоваться-целоваться! Потом девка ему и говорит: «У нас, говорит, прохожий ночует, сказывает — ежели голой раздеться да голову в хомут сунуть, а ноги в гужи, то во сне все, что захочешь, увидишь,— я без тебя жить не могу, так хочу во сне увидеть тебя, когда уйдешь».

— Ладно дело...

— А вы слушайте! Разделась она, залезла в хомут, а хомут-то под лавкой был. «Помоги-ка, мне одной не залезть, вылезти я и одна вылезу!» Положил он ее на лавку в хомуте и ну опять чудесить, а тот, вывороти душу, из-за печи возьми да крикни: «Эй, хозяйева! Дочку вашу волки съели». Молодец кучерявой в окно, девка в хомуте мается, и, как на грех, луну в небе будто кто шапкой хлопнул — стало темно. Прибежал отец с матерью, отец грабонул рукой по лавке, нащупал дочь и кричит с перепугу: «Матка! Тащи огонь, дочке волки голову оторвали, одно, кажись, горло осталось!» Огонь принесли, и прохожий из-за печи вылез. Осмотрели вместиах девку, из хомута вынули. «Ничего, говорит. Все у девки цело...» И пошел из избы, а отец с матерью ему денег суют: «Не разводи худой славы,— за девку, вишь ты, нынь сватаются!» Ушел жених-прохожий, а за деревней на рассвете встретились ему нищие

слепцы, спрашивают: «Скажи, богомolec, в каком тут доме нищих хорошо чувствуют?» — «А тут, говорит, в крайнем, с крашеными углами, у богатея... Только любит, когда придешь, дочку, которую волки съели, поминать чтобы». Слепцы сделали, как им сказал жених, а богатея их в шею выгнал...

— Нескладная!

— Зачни другую!

— Ну, так слушайте, сватья! Так было со мной: ходил я к одной бабе — молод, глуп был...

— Ты и теперь не очень умен!

— Не перебивайте, душу вашу! Был у той бабы муж богомольной, а баба была хитрущая... Пришел раз я к ней в гости, она водочки на стол, грибов, а муж — что ему вздумалось — с дороги домой вернулся: вижу я, въехал во двор, потом слышу, в сенях дугу на гвоздь вешает, скоро в избу грянет... Струхнул я — бедовой муж-то был у бабы. А баба ничего! Подскочила ко мне и ну с меня платье рвать. Раздела донага, посередке меня полотенцем опутала, чтобы, значит, стыд убрать, велела встать на лавку, я даже головой да плечами образа закрыл. «Сложи, говорит, руки крестом, глаза возведи к потолку!» Сделал, как учила, а муж в избу: «Это, жена, у тебя кто?» — «Да Нил Столбенский, благодать, вишь, бог послал нам, ежели куда не уйдет в другое место...» Муж, смекаю, хоть и гляжу в потолок, распоясался, кинул топор под лавку, рукавицы на лавку, стал руки мыть. «Дай-ко, говорит, жена, щец! Собери на стол». Стол-то близко от меня стоял. Подала она ему щей. «Да что, говорит, вывороти его душу, как нищему налила? Налей большую чашку!» Налила. А щи жирные, каленые. Сел, поглядел на меня и говорит: «А что, жена, первую чашку не дать ли святому? Уж больно горячи». — «Ой, что ты! Он постник, не ест скорому». Меня от его слов даже в жар кинуло. «Ест, не ест, говорит, его душу, но ежели объявился, то и кормить надо!» Да-а как хватит чашку со щами да как плеснет на меня, словно огнем. Я через стол махнул, и полотенце уронил, и в двери, а он, вывороти его душу, кричит: «Эй, святой, постой — в печи каша есть!»

Девки засмеялись:

— Ладно тебя почествовал!

— Святым оно и полагается!

— Вот ужо,— свертывая сигарку, сказал Василий Лапа,— раздеваться буду, покажу, как он мне брюхо покрасил...

— Нам чего глядеть!

Одна девка вынула из паза избушки мох, затыкавший длинную щель.

— Ты пошто? — спросил Василий.

— Двери Маремьянка не велит настезь держать — жарко.

Лучина погасла. Василий Лапа сидел в темноте, курил.

В щель, открытую в стене, яркий месяц по нарам раскинул серебристую пелену.

Вглядываясь, видел Василий то голое колено, то руку обнаженную, то грудь выпуклая девичья круглилась. Он, докурив сигарку, поспешно разделся и полез на полку. Одна из девок толкнула его, он упал на горячую каменку, обжег бок. Залез с другой стороны и, осторожно привалившись, потрогал одну из девок за обнаженную грудь. Тяжелая ладонь, пахнувшая рыбой, шлепнула его по лицу, голые ноги, руки толкали и били, он упал на пол, ударился головой о лавку. Поднялся в теплой комнате, пощупал нос, почувствовал — течет кровь, сказал:

— А что, сватьи, ежели я зачну вас за волосья имать? — Засопел злобно и громко.

На нарах приподнялась высокая девка, сказала:

— Говорила тебе — иди спать в избу рядом!

— Еще не хватало рубить да топить!

— Спи на полу — сюды не пустим!

— Черт!

— Вот шальной! сам себя мает...

Василий Лапа обтер кровь, сел на лавку, закурил.

Глаза его против воли блуждали по спящим — он видел: две девки с растрепанными волосами лежали поперек нар, положив голову на грудь высокой девки, спавшей посредине нар. В сумраке ему чудился девичий бред, нежно зовущий кого-то... Чмокали губы, а Василию Лапе слышались поцелуи. Он плюнул и вышел из избы. Стоял на холодной земле босыми ногами, вернулся озябший, кинул на пол ватный пиджак, накрылся рядовкой. Уснул под утро.

Лапа долго проспал. Утром вышел из избы, глядел на озеро.

Девки, сбросив рубахи, обмотав плечи и груди обрывками неводов, забредя в воду, ловили рыбу броднем.

Растянув сеть полукругом, они держали ее, чуть видную из воды одной кромкой.

Самая молоденькая из них, совсем голая, загоняла рыбу в сеть батогом, а на дальнем конце бродня на озере стояла по голую грудь в воде высокая и кричала:

— Дашка, шихай ладом!

Василий Лапа курил, по привычке руки за спиной.

Когда полуголые девки пошли с броднем на берег, отвернулся и, разведя огонь, стал кипятить чайник.

Девки вытрясли из невода рыбу, отобрали крупную от мелкой. Он, не оглядываясь, слышал, как они за его спиной одевались.

Высокая подошла к огню, тронула Василия за плечи, сказала весело:

— Ну, сват! готов чай-то?

— Готов, сватья!

Все расселись, стали пить: кто чай, кто кипяток.

Василий роздал девкам по кусочку сахару. Иные не брали:

— Мы от соли отвыкли — не то что от сахарю!

Девки снова принялись ловить рыбу. Василий Лапа ушел в лес, но больше ходил около озера, поджидал лебедей, а лебеди, чувствуя врага, держались на широте, и если молодые отплывали от общей кучи, то старые их звали обратно гортанным шепотом и свистом.

Когда почернел лес, вода на озере стала ярко-синей, а по верхушкам деревьев от заката развесились кумачи, Лапа подумал:

«Надо подговорить какую...» — и побрел к избушкам.

Девки варили похлебку, иные в избе укладывались спать.

Он стал готовить чай. Высокая девка сидела на полке, поглядела на него, сказала:

— Ежели не шавишь, а женишься взаправду — пойду за тебя! Только, мужик, уговор ранее: твою поселицу огляжу; по душе — пойду, не по душе — верну домой, и меня больше не ищи!

Василий Лапа придвинулся ближе.

— Сватья! вот, скажу: я один, ни свекра тебе, ни свекрови. Грамоте обучу, обряжу!

Девка покачала головой.

— Дивлюсь я одному: экую даль шел, неужели своих девок мало?

— Наши девки жидки! Мне бабу надоть, чтоб ни согнуть, ни сломать...

Девки начали смеяться:

— Тебе, Маремьяна, в саму пору.

— Перетужна! тебя не согнешь!

Маремьяна снова покачала головой.

— Надоскучило, девоньки, в казачихах¹ маяться, бобылкой слыть, охота на свою землю плотно сесть.

— Да не видишь, что ли? Мужик-от худой!

— Врете, стервы! — крикнул Василий.

— Охота на земле хозяйкой быть...

— Так, так, сватья! Бери подарки, пойдем.

Василий полез в пестерь за кумачом.

— Нет... погоди, мужик! Покеда со стариком не сговорюсь — не приму подарков...

— С батькой, что ли?

— Батьки, матки нет... сирота я! С тем, у кого службу, — деньги забрала на наряды... Не спустит — отработать надо!

— Плюнь! вывори души — дай согласие, деньги ему отдадим после...

— Так, мужик, не делают. Отпустит — пойду, не отпустит — прощай! Потом ежели...

Еще ночь проспал Василий Лапа. Утром девки, забрав сушеную рыбу в кошелю, унесли ее в деревню, а Василий ходил по лесу и не стрелял — все на тропу поглядывал и рано лег спать. Утром разбудил его голос Маремьяны:

— Эк, спишь, мужик, а я уже наработалась вволю!

— Пришла? Значит, сватья, почеломкаемся-а! — Василий полез к девке целоваться.

— Потом ужю! постой ты...

— Бери-ко подарки!

— А ну, как твоя поселица мне не подойдет! Уйду в обрат, а ты кумач-то пожалеешь...

— Да сладимся-а!

¹ К а з а к, к а з а ч и х а — наемный (ая) работник (ца) (северн., старинное).

— Тебе идти в Чернево?

— Вывори души! Туда, конечно, на Чернево...

— Бери свое — идем!

Приняв кумач, девка свернула его и бережно положила в плетеный из береста короб, повертела в руках красный платок, сбросила свой рваный, повязала подарком голову...

Шли лесистыми холмами, с холмов опускались в низины, брели по мокрым мхам — вязли по колено. Девка, подобрав высоко подола, с коробом на плече шла бодро, — Василий Лапа устал.

Над низинами в сумраке поднялся сизый дым, не то от росы, не то от лесного пожарища — пахло гарью. В дыму зажегся месяц, тусклый, пепельно-блеклый, будто бы видимый во сне.

— Вывори их души! Кто-то лес зажег, — сказал Василий.

— Поляны чистят — чищенину жгут! — деловито ответила девка.

В сумраке подошли к озеру. Василий Лапа, морща лоб, сказал:

— Мимо озера не шел, не должно оно тут быть! — и заботливо тряс на ладони компас.

— Тебе на Чернево? Я и без твоей кругляшки знаю — идем туда ладно.

— Ой, сватья, не туда!

— Руби-ко шалаш — спать надо!

— Устала?

— Ништо, привышна...

Она сняла с плеча короб, села на пень, а Василий Лапа рубил развилки для шалаша.

— Завостри!

— Ничего и так!

Он воткнул с трудом и неглубоко упорки вилачами вверх, положил неуклюжую поперечину.

— Ай, мужик, не руками все делаешь!

— Делай сама!

Нарубив ельника для настила, он корзать не стал, бросил топор.

— Так проспим!

— Куда топор-от кинул?

— Там!

Девка нашла топор, вырубилa новую поперечину, ровную и крепкую, положила на вилачи, окорзала жерди, расклала; перерубив их, закрыла шалаш хвоей и накидала в нутро сухой травы.

Работая, разгорелась, скинула кафтан, кофту, плат; повесила на пень. Сняла рубаху и, мутно желтеющая при луне, пошла к озеру мыться.

— На, сватья, мыло!

— Вот ладно, давай!

Сидел на пне у шалаша, курил, глядел на нее. Девка полоскалась в ночной воде, по ее телу, сверкая жемчугом, прыгали брызги. От воды шел пар, от ее тела тоже.

— Неужли, сватья, не озорко?

— Чого?

— Не студено тебе?

— Не... я привышна!

Она намылила руки, волосы, нырнула в озеро,— на дымчатой воде сверкнули вскинутые вверх бронзовые крепкие ноги.

— Ишь ты бес! вывороти душу.

У него защипало в волосах. Девка вынырнула, проплыла по озеру, вылезла на берег и, обмывшись, стоя на плотном месте, подошла, обтираясь рубахой. А когда полезла в рубаху, он, выплюнув сигарку, схватил ее в охапку.

— Сва-ть-юш-ка-а!

Прижал к себе скользкое тело, хотел поднять и не мог. Она, повернувшись, толкнула его. Василий отлетел в сторону, запнулся за валежину, упал и до крови прикусил губу. Вскочил злой, придушенно крикнул:

— Убью, дьявол!

Схватил топор. Злоба от стыда сделала его горячим и потным. Она раскинула руками, спокойно сказала:

— Есть надо! Разводи огонь.

Василий бросил топор, залез в шалаш и, свертывая сигарку, дрожащими губами прошептал себе:

— Едреная, черт... обстряпаю...

Девка надела кофту и кафтан, нарубила сушинника, склала в клетку, надрала береста.

— Дай-кошь огонь!

Лапа кинул ей спички.

Развела огонь, вынула из короба жестяной чайник, чашку, почерпнула воды, приладила к огню чайник.

Покурив, он перестал дрожать, спокойно и ласково сказал:

— На чаю!

Мысли толклись в голове у него назойливо.

«Ночью... ночью...»

Вылез из шалаша, сидел у огня на кокорине, опираясь рукой на острые пни срубленных им елей, курил.

Она пила чай, хрустя ела сухари, сказала:

— Ты што не ешь?

— Спать хочу!

— Вались, спи.

Василий кинул в шалаш ватный пиджак; лег не разуваясь, накрылся рядовкой, как всегда.

Девка убрала чайник, посушила у огня шерстяные чулки, башмаки вымыла, нарубила дров и, накидав их в огонь, легла в шалаш на юбку, накрылась кафтаном; придвинувшись к ней, он сказал глухо:

— Жмись ближе — теплее...

Она молча придвинулась, подоткнув под себя полы кафтана.

Он, сопя, как сонный, накинул на нее руку.

— Мужичок, сними руку!

— Эх, ты, ладная, нескладная!

— Не вяжись, баю, не твоя!

— Идешь — значит, моя!

— Не подойдет место — уйду!

— Не уйдешь! Обатаю! Прытка больно-о...

Огонь размашисто кидал пятна света. Из шалаша торчали ноги: одни в чулках, другие в сапогах, переплетаясь, цеплялись за горящие головешки и кочки. Потом мужские, в сапогах, размашисто распластались по земле. Василий Лапа лежал внизу — хрипел:

— Не дашься? — убью!

— Так ежели — иди один, не пойду я!

Девка крепко держала Василия Лапу за распяленные по земле руки, стояла на его груди коленом. Он минуту тяжело дышал, потом, изловчившись, подкинул ее на себе.

— Ага, душу твою!

Она ударилась головой в настил — шалаш упал.

— Пусти, сатана!

Василий Лапа вылез из-под шалаша и, лежа, потянулся к топору, блестящему в стороне лезвием. Она

схватила его за ногу, оттащила на прежнее место, но он вскочил, поймал топор:

— Похороню! Душу твою...

Девка поймала Василия за руку, спокойно уговаривала:

— Пошто ты лезешь? Неладной, одумайся!

— Мое дело — пошто!

— Да што, я только за робенком пошла с тобой? Годи ужо — подойдет место, и робят наживем, не подойдет — я вольная...

— Не томи душу, сатана! Губу рассек — едрен я, а ты не даешься...

Вывернулся. Сверкнул топор. Она поймала его руку, с топором и тяжело, быстро сунулась на него — от ее тяжести Василий упал навзничь, почувствовал: что-то острое вонзилось ему в спину. Падая, подплел ей ноги, она всем телом грузно рухнула. В спине у Василия хрустнуло — как огнем прожгло все тело, онемела спина и ноги, заныли все кости, и весь он неожиданно и быстро ослабел. Василий молча лежал, щелкали зубы — он дрожал как в лихорадке. Соскользнув с острого пня, упал на головешки и лишился сознания. Трещали усы и волосы на голове.

Она грузно поднялась на ноги, оттащила его от горячих головней, вынула из огня оброненный им топор. Разрыла шалаш, достала свое платье и его тоже. Пиджак с рядовкой кинула ему, а сама легла у огня на юбку. На лице ее не было злости, но казалось, что она удивлена всем случившимся...

Утром с восходом солнца пошли. У него ныла онемевшая спина, и ноги худо двигались. Василий не видел леса; в глазах мелькали белые, блестящие, светло- и темно-зеленые стволы берез, вязов, елей. Он чувствовал только, что его окружает какая-то зеленая неразбериха, пахнущая малиной, иногда багульником. Слышал: воздух по верху звенит птичьими голосами, по низу трещит кузнечиками, а в лицо несет пением комаров, только их укусов Лапа не чувствовал — ему было душно, сжимало горло, болело внизу живота. Тошнота подымалась, и ему с каждым трудным шагом все больше казалось, что слышит и видит лес последний раз, — он боялся леса и не любил его... Чувствовал, что по спине время

от времени сочится кровь. Потный, с багровым лицом, часто останавливался. Девка, опередив его, поджидала и заботливо спрашивала:

— Устал? Дай пестерь-от, я понесу!

Бросил ей пестерь, глухо сказал:

— Вывори души! Становую жилу сорвала...

— Ну, што ты?

— Вишь, идти не могу — ног нет!

Ребятишки со всей деревни сбежались, пока Василий Лапа возился с ключом, отпирал избу. Те, что побольше, пели:

Лапе дело — наплевать!
В лес не хочет выезжать,
Только ездит до шестка,
Похлебает из горшка!

Василий крепко выругал малышей. Пока он возился с ключом, искал его в пазу избы, девка успела оглядеть избу. Входя, спросила:

— Лошадь-то есть?

— Есть!

— Ну, мужик! Лошадь своя, а дров ладных ни полена.

— Хламу много!

— Хлам не дрова!

В избе пахло кислым, кровать была неряшливо разворочена, закидана тряпьем. Во дворе мычала плохо кормленная корова. Василий лег на кровать не раздеваясь. Она затопила печь, подоила корову, принесла воды — поставила в чугунах к огню, нагретой водой напоила корову, взяла косу, сходила на задворки, накосила травы, дала корове.

Вымела избу, перемыла горшки, чашки, вычистила позеленевший самовар и горячими углями поставила его. Закипел, спросила:

— Где чай-от? Садись-ко чай пить!

Василий Лапа с трудом поднялся, заварил чай — почти не пил. И снова лег, закрылся одеялом, скрипел во сне зубами и бредил.

Когда пришли с заполька лошади — узнала его лошадь, завела во двор, но во дворе было навозно. Стемнело, а на сарае стучал топор, шумела солома — она

стлала во двор подстилку, оглядывала хлевы. Нашла разбросанную в сенях куделю, принесла в избу, завернула в половик.

На другой день встала до света, подоила корову, выпустила на заповок вместе с лошастью. Василий Лапа не вставал. Она с вечера отыскала муку, замесила квашню, вынула из своего короба сушеную рыбу, сварила уши, на грядах нарвала луку. Разбудила его пить чай, а пока он сидел за столом, вынула из печи хлеба — снесла в сени прохладить.

— Ладно все делаешь, вывороти душу, только хребтину вот мне сломала...

— Сам — не я...

— Вишь, осталась — лез за делом.

Не ответила, налила уши в чашку, очистила лук, хлеб принесла.

— Поешь-ко... отойдет.

— Конец мне! душу твою...

— Пойдем в поле — землю покажи.

— От земли я ладил отступаться.

— Отступишь — тогда скотину и ту не дадут выпустить, землю держать надо.

— Я грамотной — в город ладил.

— Меня выучишь — хочу грамотной быть!

— Тут у нас учитель коммунист, он не то баб, старух учит, ежели кто хочет...

— Ой, а где он?

— Тут, в училище.

— Ин ладно, теперь в поле.

Василий не чувствовал ног, но упрямо взял палку. Маремьяна поддерживала его — с трудом волокся, показывая ей полосы и межи.

Она говорила:

— Коню маета! В такую землю соха не пойдет — запустошил.

— К черту! Тошно мне.

— Здеся отпахано сохи на три — надоть померщика взять, отколотить твое.

— С миром грешить — ну их!

— А, нет! Я своего не спущу.

Василий не мог больше ходить, висел на ней, сказал:

— У меня вся спина в крови...

— В больницу надоть...

— Не хочу в больницу!

Дома лежал, стонал. Она сидела, пряла куделю — там же, в сенях, нашла прялку и веретено.

— Ты што, мужичок?

— Избы не вижу... память теряю — сломала всего...

— Завтра пойдем в исполком, запишемся... Нехорошо баять, помрешь; приемка взять надо — без мужика хозяйство худое: дровни наладить, косу выточить — и то некому...

— Вывороти душу! Кабы знал, что найду на озерах, не пошел бы...

— Ужо отлежишься.

— Не могу в исполком! Живи так...

— Не можешь идти — снесу!

Одела его и повела.

— К попу надо бы, да вишь, ног у меня нет!

— Не надо попа! по-новому ладнее — крепче.

Он не мог подняться на крыльцо, взяла его на руки, внесла в избу. Василий сказал:

— Крепок был я — носил других, теперь сделала тряпиным, носи!

Она ушла из избы, долго не была, вернулась радостная:

— Ладный у вас учитель! — подошла к кровати. — Учить меня будет... Завтра зачну. Ой, вот-то радости! Неужели буду грамотной? Свет увижу! Твою поселицу наладить надо. Корова старая! — подработать денег — с придачей промен ей сделать, на молодую... Овец, вишь, нет! — ну, овцы будут. А за курицу зовут избу мыть, и курица будет...

— Ну тебя! Задорно слушать — помру я...

Она замолчала. Василий Лапа глядел на ее темное крупное лицо, на сильную фигуру в темном сарафане, с красным платком на голове; от злости и жалости к себе — плакал. Видел, как она сбросила с головы плат на лавку, по плечам хлынули густые светлые волосы. Расчесывая волосы, Маремьяна сказала:

— Сойди-ко, муж, надо кровать наладить.

Он, стоная, начал подыматься, она взяла его за голову и за ноги, перенесла на лавку. Его тошнило, рябило в глазах, и потолок кружился.

— Эк я, шальная, давнула тебя!

Он как бы задумался, потом сказал:

— Вывори мои душу — сам! Сам лез, правда твоя...

Она вытрясла одеяло на крыльце, перебрала постель, поправила подушки, перенесла его и стала раздевать.

— Поверни на спину!

Повернула, стараясь бережно касаться его тела. Тяжелая и широкая, легла рядом.

— Вот, вишь, дождался меня!

В ответ он застонал, потом неожиданно начал ругаться и все проклинать, начиная с бога. Маремьяна молча слушала. Он, кончив ругаться, как бы впал в забытие, потом прохрипел:

— Рожу сожгла... Спину сломала — неужли ты смерть моя?

Она поцеловала его, стала гладить тяжелой шершавой рукой по волосам, по лицу.

— Сорвет меня, гляди!

— Ты много зря на баб зарился, милой... Боялся, што ли, што куда от бабы денешься? От бабы, мужичок, никуда не уйдешь!

— На тот свет уйду!

— А я так мекаю — нет его, того-то света?.. О нем только попы врут...

— Чую — помру!

— Помрешь? Знать, так надоть: вешний снежок идет потому, чтобы зимний, матерой, с земли слизать. Уйдешь, я тут сяду, как по-досельному говорят: «насельницей», хозяйкой села вековешной.

— Ты рада, сволочь!

— Ни рада, ни печалуюсь...

Василий Лапа со стоном повернулся, схватил жену в охапку, впился ей в тугую грудь зубами, она не отталкивала его, обняла плотно и подумала:

«Видно, худо ему? Не хочет, а в больницу, што ль, надо? Ишь, холодной какой мужичок, и ноги синие стали!»